

П Е Р Е В О Д Й

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ о ГЕОРГЕ ГЕЙМЕ

Я один в краю глухой непогоды,  
Я, с креста глядевший на Иерусалим,  
Бывший Иисус, а теперь в углу  
Гложущий пыльную подобранный горбушку.

"Помешанные. III" /Пер. М.Гаспарова/

Георг Гейм относится к числу тех поэтов-комет, которые за короткий век своего творческого пути, успев при жизни издать только одну-две книги, прочерчивают на небосводе художественной духовности неповторимый и яркий след. Он был один из самых одаренных поэтов и характернейшим представителем раннего экспрессионизма. Однако, его влияние на родную словесность и общий вклад в европейскую литературу выходят далеко за рамки однозначного наименования. Многим его образам время придало символический характер. Разве жизнь не отразила в страшной реальности его художественные факты, представив опыт строительства "тысячелетних империй" и "светлого будущего", где обязательным и важнейшим компонентом утверждения являлся идеологический штамп абракадабры и плеть:

"Цепи, плети, охранники.

Здесь шуршим мы в крапиве, в репьях, в терновнике

Перед пугающим вызовом диких небес,

Пред гигантскими красными иероглифами,  
Огненными зубьями пепляющимися в нас, —  
И синяя отрава по сети жил  
Судорожно вкрадывается в наши головы."

"Помешанные. III" /Пер.М.Гаспарова/

Родился Георг Гейм 30 октября 1887 года в небольшом си-

лесском городе Хиршберге. Он происходил из чиновничье-пасторской семьи, отец Георга был прокурором на куролевской службе, имел консервативные взгляды и деспотический характер; отношения с отцом во многом определили жизненный путь поэта. В 1900 году Георг приезжает в Берлин, где какое-то время обучается в гимназии Иоахимталья. Учеба в ней заканчивается скандалом — его исключают. После этого он некоторый период посещает школу в Нойруппине; там возникли его первые литературные опыты. По настоянию родителя он становится в 1907 году студентом юридического факультета в Бюргбурге. В бюргбургском же провинциальном издательстве вышла тогда его драма "Поход на Сицилию". Свое юридическое образование (безо всякой, впрочем, внутренней склонности к этой науке) он завершает в Берлине.

Свою внутреннюю уязвимость и тонкость душевых стремлений он вынужден был скрывать под маской удалого бурха, в жизни со схватками и приключениями амурного плана. Он слегка заикался и неважно читал свои "спасно прекрасные" (по выражению Хермлина) стихи. Он увлекался спортом, отдавая предпочтение плаванию и гребле, был членом немецкого боксерского клуба. После завершения образования он в качестве референдана (стажера-судьи) получает место в Бустерхаузене. Он не оставляет попыток уклониться от своей юридической судьбы и пытается стать переводчиком и офицером, "Начиная с 1909 года — пишет Хермлин, — то в писем и записях в дневнике меняется: он утрачивает свою наивность, мрачнеет, пламенеет. Тоска Гейма по любви становится лихорадочной, он словно помешанный ищет признания, неистовая, вулканическая продуктивность пробуждается в нем". /Пер.П.Рыхло/.

16 января 1912 года, катаясь на коньках на Хафеле, он вместе с другом-поэтом, Эрнстом Бальке, провалился под лед и утонул. Его гибель "предсказана" за полтора года до этого в записи следующего его сна: "Я стоял посреди большого озера, как бы покрытого каменными плитами. Мне казалось, что это вода, скованная льдом. Вдруг я почувствовал, как плиты уходят из-под ног, однако я удержался. Я прошел еще немного по водной глади. И тут у меня мелькнула мысль, что я ведь могу утонуть. В это же мгновение я погрузился в зеленую, илистую, заросшую вьющимися растениями воду. Но я не растерялся, я начал плыть. Как в сказке, ко мне все приближалась и приближалась далекая страна. Несколько

толчков - и я очутился в песчаной солнечной бухте". /Пер.П.Рыхло/.

Могила поэта находится в Шарлотенбурге.

По счастью Георг Гейм оставил дневник, строки из которого помогают нам увидеть некоторые определяющие черты образа мыслей его. Так под 15 сентября 1911 года мы читаем: "Боже мой - я же задохнусь в моем нерастраченном энтузиазме в это банальное время. Потому что мне потребны мощные внешние эмоции, чтобы быть счастливым. В моих бодрствующих фантазиях я вижу себя Дантоном, либо человеком баррикад, я не могу, собственно говоря, помыслить себя без якобинского колпака". Угнетающее расхождение между правом на искренние эмоции и пошлостью тупого окружения определяют элегическое звучание его лирического голоса, расставляют акценты его образтворчества, которое в стихах и прозе выразило, через субъективное, страдание времени, изломы цивилизации больших городов:

"Вокруг этих ног, под жалобный мотив,  
Кружатся города за туром тур,  
И смерти песнь, как эхо раскатив,  
За тоном тон вонзают в темноту."

"Демоны городов" /пер.В.Нейштадта/

Фигура страшного великана тяжелой поступью шествует из произведения в произведение Гейма. Это может быть "бог города", что "на кряж домов ширским задом сел", "демоны городов" у Гейма "в толпу вонзают пальцы вил", а "призрак войны", который "горною подошвой затоптав закат, смотрит вниз" и затем "пускает в поле огненного пса". Это высится "Некий на стульчаке", что "ими правит жезлом железным", или "черные исполинши, глиняные моловхи" и "черное божество". Наконец, это - огромная безглазая смерть, своей костяною ногсю наступившая на исстрадавшиеся тела больных в прозе "Ионатан". Даже

"Подъемный кран, чернолобый тиран,  
Молох над павшими ниц рабами..."

Есть ли спасение человеку? Куда?

"Четыре дороги, все - в пустоту,  
Скостились. Кусты - как стынувшие нищие.  
Красная рябина блестит печально,

## Как птичий глаз. Четыре дороги

Застыли на миг пошептать ветвями  
И вновь вперед, в четыре одиночества,  
На север и юг, на восток и запад,  
Где небо к земле придавило день."

"Зима" /пер. М.Гаспарова/

Уже упоминавшиеся сложные и напряженные отношения с отцом находят тоже отражение в следующих строках дневника Георга, записанных с чувством полной откровенности буквально за месяц до трагической гибели. II декабря 1911 года: "Я стал бы величайшим поэтом, когда бы не имел такого свинского папашу. В то время, когда мне необходима была разумная забота, я должен был тратить все силы, чтобы держать на расстоянии от себя этого подлеца".

Истинный выход жившим в нем чувствам Гейм видел только в литературе, но: "Кто проснется страдать под новым утром,  
Долго будет страживать тяжкий сон с серых век"

Несмотря на высказываемый по отношению к себе творческий скептицизм, Георга Гейма по праву причисляют к родоначальникам экспрессионистической литературы и к ярчайшим именам поэтической политры XX века. "Бодлер, Верлен, Рембо, Китс, Шелли. Мне в самом деле кажется, - писал поэт в своем дневнике, - что я единственный из немцев смею войти в тень этих богов, не задыхаясь от бледности и слабости".

В 1910 году он впервые выступает в "Новом клубе" (Берлин) с открытыми чтениями своих вещей. "Новый клуб" был в то время местом одним из мест схода литераторов-экспрессионистов. В этот период там бывали Курт Хиллер (1885-1972), Якоб ван Ходдис (1887-1942), Эрнст Блас (1890-1939), Карл Краус (1874-1936). Критика считает Георга Гейма лидером "черного экспрессионизма", куда кроме него включались еще Г.Бэнн, Г.Тракль, ранний Б.Брехт и др. "Особенно своеобразен, - указывает В.Адмони, - восходящий к Бодлеру сплав прекрасного и ужасного в лирике Тракля и Гейма, выступающий ... путем связывания как будто несопоставимых вещей и явлений, а главное - в форме необычайных видений". Поэт пристально всматривается в смерть, страдание, распад, сн

изображает их не посредством символических метафор или фигур многозначительного умолчания, а как бы впрямую и непосредственно вглядываясь в них, различая их как неизменную и естественную составную мироздания.

"Покойник спит, забывшись, забытый,  
Овеяны лесом. Черви, вгрызаясь  
В цели его черепа, поют свою песню,  
И сна ему снится звенящей музыкой."

"Спящий в лесу" /пер.М.Гаспарова/.

Поэт далеко не сентиментален и лишен жеманства во взгляде на "униженных и оскорбленных", в нем нет мании страстного к ним почтения только за то, что они бедны и обездолены. В этом он - своеобразный наследник эстетики Достоевского, который, по словам М.Мамардашвили "первым поставил под вопрос эту манию, литературную и общеинтеллигентную (всё, кстати сказать, не такую демократичную, как кажется на первый взгляд)". Гейм не облагораживает страшной действительности, но и не играет "ужасными" образами. Его поэзия естественна в своей мрачной силе и суровой красоте.

"Приблизьтесь. Загоритесь его скорбями,  
Впейте вздох его, холодный, как лед,  
Вздох, принесшийся из-за тысяч эдемов  
Ароматом, впитавшим чужое горе."

"Адская вечеря.II" /пер.М.Гаспарова/.

Несмотря на то, что в творчестве Гейма большое место отведено образу города, урбанистическим мотивам, поэту не чужда была и "чистая" лирика, где голос его поет тихой вечерней флейтой, полную грусти мелодию:

"Когда этот дымный вечер  
Глаза нам закроет рукой,  
Легконогие сны в наши двери  
Входят бесшумной толпой.

Над головами кимвали  
Позвякивают едва  
Они держат яркие свечи  
И тихие шепчут слова."

"Холмы и поле за полем..." /пер. Г.Ратгауза/.

Предлагаемая читателю новелла "Ионатан" входит в сборник прозы Георга Гейма "Вор" (изд. "Ровольт", 1913). Эта неприхотливая в сюжетном отношении вещь написана на одном дыхании удивительно прозрачным языком, в ней нет формальных ухищрений, она проста. Но это щемящая простота, она потрясает. На миг только высветилось счастье маленькому Ионатану, но он умирает, брошенный и одинокий, призренный лишь обезличенной и бесчеловечной холодной больницей, служащие которой обращаются с ним как с бесчувственным рабочим объектом. То, что могло бы спасти его, не прорвалось к нему, он подчиняется зову смерти.

Произведения Георга Гейма при жизни печатались в различных журналах. В 1911 году Эрнст Ровольт в своем издательстве выпустил сборник его стихотворений "Вечный день" (объемом в 70 страниц), савшийся единственным прижизненным изданием. Другой, подготовленный им самим, поэтический сборник "Тени жизни" увидел свет в том же издательстве уже после смерти поэта, в 1912 году.

В 1922 году в Мюнхене выходят из печати его "Сочинения" – собрания стихов и прозы. "Собрание стихов" Гейма, выпущенное одним швейцарским издательством появилось только в 1947 году. И лишь в 1960 – началась публикация полного 6-томного собрания сочинений Георга Гейма. Общим объемом чуть более 300-ти страниц. Но эти страницы уже три четверти века потрясают читателей и продолжают удивлять комментаторов. Многие стихотворения поэта стали классикой века. Ни одна антология, претендующая на авторитетность, не выходила без стихов Гейма.

Впервые стихи Георга Гейма на русский язык перевел Влад. Нейштадт в 1923 году, затем его переводили также Б.Пастернак, Л.Гинзбург, Г.Ратгауз. Последние переводы сделаны М.Гаспаровым.

Проза Гейма на русском языке не издавалась.

"Ночь началась. Кто-то плакал печально. Мы плыли  
С горькой душой, с парусами косыми, вдаль.

Молча стояли на палубе. Тяжко заныли  
Наши сердца в темноту. Свет увядал.

Только единое облако в далях стояло долго -  
Прежде чем ночь поглотила вечность пространств -  
Скрыв кусочек вселенной пурпуром полога.  
Как торжественный гимн над душою, впадающей в транс."

"Моряки" /пер. В.Нейштадта/.

## ИОНАТАН

/перевед с немецкого Юргиса Нели/

---

Уже третий день молоденький Ионатан пребывал в ужасном одиночестве своей больничной палаты. Уже третий день, и часы тянулись все медленнее и медленнее. Когда он закрывал глаза, то слышал как они медленно стекают по стенам, подобно вечному падению медленных капель в отдушину темного погреба.

Поскольку обе ноги его лежали в толстенных лубках, он почти не мог шевелиться, и когда от его перебитых колен вверх медленно начинали наползать боли, не было никого, кто мог бы оказать ему поддержку в эту минуту, ни руки, ни утешения, ни ласкового слова. Если же он звонком вызывал сестру, она входила ворча, медленно, раздосадованно. Выслушав его страдальческие жалобы, она объявляла это бесполезной привередливостью. Ей пришлось бы тогда прибегать по тысячу раз в час, говорила она, и дверь за нею закрывалась.

И си снова оставался один, снова покинутый, снова отданный на растерзание своим мучениям, на забытом своем одре, над которым со всех сторон, снизу, сверху, от стен, боли протягивали к нему свои длинные белые, дрожащие пальцы.

Темнота раннего осеннего вечера вползала через пустое окно в жалкую комнату, она становилась все гуще и гуще. Молоденький Ионатан лежал головой на огромной белой подушке, он больше не шевелился. И постель его, казалось, плыла вместе с ним вниз по течению адской реки, вечный холод которой кажется бесконечно струится в вечную неподвижность затерянной пустыни.

Дверь отворилась, из соседней комнаты вошла с лампою сест-

ра. В то время, пока дверь оставалась открытой, он бросил взгляд на ту сторону, в соседнюю комнату. До сегодняшнего полу-дня та пустовала. Его кровать была такой же железной и громадной как и кровать там, прежде виденная им пустой, широко разинутой, словно некая пасть, которая, казалось, готовилась со скрежетом захлопнувшись, схватить нового больного. Он увидел, что кровать эта больше не была пуста. Он увидел лежащую в тени огромной подушки белеющую голову. Насколько он сумел разглядеть в полутьме тусклой лампы, это была, пожалуй, девушка. Больная как и он, сопутчила по страданью, подруга, та, на кого он мог бы опереться, кто как и он выброшен из сада жизни. Сможет ли она ответить ему, что за недуг приключился с нею?

Она тоже заметила его, он увидел это. И взгляды больных встретились в дверях, короткий мимолетный привет, краткий знак счастья. И как слабое крыло маленькой птицы, в новой и тайной надежде затрепетало в это мгновение его сердце.

Внезапно в коридоре трижды громко позвонили, короткими отхлестами, пронзительны как приказ. Сестра выбежала на требовательность звонка и закрыла за собой дверь в соседнюю комнату.

Это была весть, что куда-то пришла опасность, быть может, кто-то был при смерти. Звонку этому Исаиатан уже выучился и задржал от страха при мысли, что сейчас в этой жалкой затхлой атмосфере кто-то испускал свой последний вздох. Ах, почему здесь умирают, здесь, где смерть видят стоящую у каждой постели, здесь, где в распоряжение смерти передаются как какой-нибудь номер, с открытыми глазами, здесь, где каждая мысль была заражена смертью, здесь, где не оставалось больше иллюзий, где все было обнажено, холодно и жестоко. Воистину, приговоренному к смерти легче, ибо его мучения делятся лишь один день, столь долго скрыт от него его конец; они же, однако, с наступлением каждого дня в этих комнатах брошены по произволу судьбы одиночству, мраку неизвестности, ужасной печали осенних вечеров, зиме, смерти, какому-то вечному аду.

И они должны были неподвижно лежать на своих постелях, они были отданы таким физическим болям, как будто с их тела заживо сдирали кожу. Ах, и чтобы поиздеваться над их страданием, чтобы их бессилие неотступно стояло перед очами их, в ногах каждой кровати на огромном белом кресте, на фоне смеркающихся небес, висит умирающий Христос. Бедный Христос, который

лишь прискорбно пожал плечами, когда иудеи молили его с чуде-  
ты же Христос, так сяди с креста. И из глаз его скошенных,  
перевидевших уже бесконечное число немощных на этих больничных  
сдрах, от его перекошенного скорбной гримасой рта, вдохнувшего  
испарения несметного количества ужасных ран, от этого разбойни-  
ка на кресте исходило страшное бессилие, скрывающее мраком  
души больных и подавлявшее все, что пока еще не стало смертью  
и отчаянием.

Внезапно дверь в смежную комнату приотворилась. Она, ве-  
роятно, осталась неплотно прикрытой. И Ионатан вновь взглянул  
на ту сторону, в бледное лицо своей новой соседки, которое он  
чуть было не позабыл в своих мыслях о смерти.

Дверь осталась открытой. Больная тоже поглядела в его сто-  
рону, он почувствовал это сквозь полуслабому. И в эти мимолетные  
секунды они молча поприветствовали друг друга через порог, они  
взаимно испытали друг друга, они узнали друг друга, и соедини-  
лись друг с другом, как двое потерпевших кораблекрушение, сти-  
хией прибитых рядом в безбрежном океане.

"Я слышала после обеда как Вы очень громко стоали, у  
Вас сильные боли? Почему Вы лежите здесь?" - услышал он ее  
тихий голос, ставший, казалось, вследствие болезни тонким и лег-  
ким.

"Да, это ужасно", - произнес Ионатан.

"Что же произошло с Вами? Почему Вы попали сюда?" - снова  
спросила она.

И тогда он поведал ей, -по временам его голос дрожал от  
боли, - свою историю.

Пять лет тому назад в качестве механика отправился он из  
Гамбурга в плавание, в Восточную Азию. Скитался по океанам  
Востока, постоянно возле парового котла, в обжигающем зное тро-  
ников. На судне добывчиков кораллов пошел он в моря южного полу-  
шария, потом плавал на одном контрабандисте, тайком перевозив-  
шем в Гуанчжоу скрытый в мешках с майсом спиум, свыше двух  
лет. На этом-то судне зашибил он хорошую деньги и уже собира-  
лся вернуться домой, но его обокрали. И без гроша в кармане он  
застрял в Шанхае. С помощью консула ему удалось наняться на  
один пароход, с партией риса направлявшийся в Гамбург. Судно  
следовало вокруг мыса Доброй Надежды, чтобы сэкономить на про-

ходе через Суэцкий канал.

В Монровии, в Либерии, этой ужасной лихорадочной Либерии, они в течение трех дней принимали уголь. К полудню третьего дня он без сил упал внизу в котельном отделении. Когда пришел в себя, он лежал уже в монровийском госпитале, среди примерно сотни чумазых негров. Тут провался он четыре недели в гемоглобурийной лихорадке, более мертвый, чем живой. Ах, чего ж он тогда только не натерпелся в страшном июльском зное, сжигающем кровеносные сосуды больных, по которым огонь стучал в их мозг, как железный молот.

Однако несмотря на грязь, на смрад негров, жару, несмотря на лихорадку это было все-таки лучше, чем здесь. Потому что там они никогда не оставались в одиночестве, там они всегда развлекались беседой.

"В разгар лихорадки негры пели свои песни, в разгар лихорадки они плясали на своих кроватях. И если один из них умирал, тогда еще раз вскакивал, как будто хотел еще раз швырнуть кратер своей лихорадки в небо, прежде чем оно навсегда задушит его.

Вот, взгляните, я нахожусь в карантине, потому что врачи полагают, что я мог бы заразить своей лихорадкой и других в общей зале, эти господа в Европе такие предусмотрительные, тогда пусть они придут и понаблюдают, как мало тут внизу заботятся о больных. Однако они для этого слишком здоровы, к тому же не заперты как преступники в этом свирепом одиночестве.

Мои ноги были бы излечены много раньше, если б я не был все время так одинок. Но это одиночество хуже смерти. Прошлой ночью я проснулся в три часа. И лежал словно какая-то собака на своей подстилке, я пристально всматривался в темноту, все время прямо перед собой."

"Что же случилось с Вашими ногами, могу я узнать об этом?" - услышал он вопрос. "Расскажите же, пожалуйста, дальше." И он повиновался ей.

Так вот, выздоровев, он вместе с одним французским доктором, который непременно хотел добить орхидею, что растет только в верховьях Нигера, отправился в дикий либерийский лес. Там они два месяца пробирались по девственной чаще, через крики полные аллигаторов, через исполинские болота, на которых по вечерам москиты стояли столь густо, что одним взмахом их

всегда можно было схватить в руку более сотни сразу.

И воображение этих огромных трясин, погруженных в вечер девственного леса, вечный шелест в кронах деревьев этих бесконечных джунглей, экзотические имена неведомых народов, окруженных тайнами далей, загадка и приключение затерянных лесов, все эти странные картины наполняли сердце его слушательницы восхищением, а больного переносили оттуда в непривычную атмосферу прозаической гамбургской больницы, молоденького механика на убогой постели.

И он поведал ей зевершение своей участи, которая забросила его сюда, в ее близость, и которая нынче над пуританским убожеством этих двух комнат распахнула небо любви больного, переполнившей его сердце неведомым блаженством.

У Лагоса они снова вышли из диких дебрей. Он записался в судовую команду, чтобы вернуться домой, всё шло хорошо до самого Куксхафена. Он как раз собирался спуститься на котел по железному приставному трапу, когда судно круто легло на борт под напором внезапно сильного порыва ветра. Он потерял равновесие, и трап стремительно обвалился внутрь машинного отделения. Стержень поршня перебил ему обе ноги.

"Это же ужасно, это же чудовищно", - воскликнула его слушательница, привстав на подушке. Теперь он мог отчетливо рассмотреть ее. Лампа высветила ее профиль. При ее нескольких чрезмерной бледности он, казалось, пламенел изнутри, словно лик какой-то иконы в темной церкви.

"Когда я смогу вставать, я приду навестить Вас. Вы позвольте, чтобы я иногда могла навещать Вас?"

"Приходите, неизменно приходите", - произнес он. - "Вы первая, кто сказал мне здесь хоть одно приветливое слово. Вы знаете, если Вы придете, то поможете мне больше, чем все врачи. Однако, сможете ли Вы уже так скоро подняться? Вы-то почему здесь?"

Она рассказала ему, что перенесла операцию слепой кишki, и теперь должна пролежать здесь еще четырнадцать дней.

"Тогда мы, быть может, сумеем поговорить больше одного раза", - сказал молоденький Ионатан. - "Вы не хотели бы продолжить наши беседы еще?"

"Ну конечно же. Я скажу врачу, я попрошу сестру, чтобы

утром дверь снова открыли на некоторое время."

Он вслушивался в ее голос, он почти позабыл об этом. И комната сразу наполнилась пустотой ужаса.

"Спасибо Вам", - и некоторое время они сба лежали тихо. Его глаза выискивали ее из подушек, а сна некоторое время любовно всматривалась в его лицо. В безмолвии этой минуты его любовь стала еще глубже, она победоносно продвигалась вперед по его крови, она начала укутывать его мысли в счастливые грэзы, она нарисовала ему широкий луг в каком-то золотом лесу, она явила ему летний день, один бесконечно длящийся летний день, блаженный полдень, когда они рука об руку идут колосящимися хлебами, обволакивающими слова их любви своим тихим шелестом.

Дверь распахнулась, вошли два врача и две сестры.

"Здесь разговаривали", - сказал один из двух врачей. - "Это никуда не годится, это недопустимо. Вам следует подчиняться правилам внутреннего распорядка. Вам нужен покой. Вы меняете? И Вы, сестра, чтоб никогда больше Вы не оставляли дверь открытой! Больные должны иметь тишину и тишину поддерживать." И он самолично прошел в ту сторону и закрыл дверь между обеими комнатами.

После этого он осмотрел обе ноги Ионатана, сделал новую перевязку и произнес: "Месяца через три Вы, быть может, уже снова сможете бегать, если, конечно, это вообще когда-нибудь произойдет. А пока это под вопросом. Вы должны начинать привыкать к мысли, что останетесь калекой. Я оставил Вам здесь сестру, которая присмотрит за Вами."

Он снова накинул на больного одеяло, пожелал ему доброй ночи и исчез в сопровождении своей свиты.

Ионатан лежал на своей подушке, словно кто-то одним рывком вырвал сердце из его груди. Дверь была закрыта. Больше он не поговорит со своей соседкой, он больше не сможет вновь увидеться с нею. Таким образом, то были лишь несколько минут, которые никогда больше не повторятся. Она ведь раньше выйдет отсюда. Через две недели здесь, по-соседству, будет лежать кто-нибудь совсем другой, какой-нибудь мелкий торговец сельдью, либо какая-нибудь старая бабка. Она же, быть может, и захочет однажды навестить его, но ее сюда не впустят. Да и что ей может быть интересного у него, несчастного безногого обрубка че-

ловека. Врач ведь только что сам сказал, что он останется калекой. И он вновь погрузился в свое отчаяние. Он лежал тихо.

Его боль воротилась снова. Он стискивал зубы, чтобы не закричать. И слезы выступили у него на глазах, обжигая как огонь.

Какая-то судорога тряслася его. Он мерз, он мерз. Руки его похолодели как лед. Он чувствовал, как снова возвращается лихорадка. Он хотел скликнуть девушку по имени. Но тут же вспомнил, что не знает его. И это новое осознание еще глубже втолкнуло его в бездну. Никогда — имя ее. Он хотел позвать "милостивая барышня" или как-нибудь в этом роде, однако, когда он привстал, то увидел желтое лицо своей ночной сиделки, ставшее от бесчисленныхочных бдений старым, тупым и подлым.

Он ведь был не один. Он совсем позабыл об этом. Рядом с ним сидел сторож, этот сатана из больничных сестер, этот старый увядший черт, от которого он был зависим, который мог ему приказывать. И он снова рухнул назад.

Отныне его никто уже не избавит, отныне его никто уже не спасет. А там висит Христос, этот жалкий слабовольный мямя, и всё еще улыбается. Он, казалось, совершенно не мог достаточно настрадаться, он, казалось, радовался своим мучениям, и улыбка Бога чудилась Ионатану странной, злобной, притворной, как продажное сладострастие. Он закрыл глаза. Он был побежден.

Лихорадка навалилась на него всей своей мощью. В начинающихся приступах еще раз, как вечерняя звезда на пустом небосводе, вынырнул образ его незнакомой соседки, белый, как лик покойницы.

Около полуночи он забылся сном. То был ужасный сон, в котором застывают отвердевшие болезнь и отчаяние человека, когда исчерпывают арсенал своих мучений.

Пропал он едва ли два часа. Пробнувшегося, его с такою силой настигли внезапные боли в бедре, что он почти впал в беспамятство. Он изо всех сил вцепился в спинку кровати. Ему показалось, что ноги его выворачиваются раскаленными щипцами, и он испустил страшный, нескончаемый крик, один из тех криков, которые в больнице так часто по ночам внезапно будят и вспугивают спящих с постелей, и сердце каждого из них тогда заходит от ужаса.

Он наполовину приподнялся в постели. Он рухнул на руки.

Он задохнулся от боли, она всасывала его в себя. И тогда, тогда он заревел во всё горло страшное аааа уууу.

Как неистовствовала смерть над домом. Вот она встала во весь рост на крыше, и под ее гигантскими костяными ногами больные садились в своих постелях, в своих огромных палатах, в своих комнатенках, повсюду подскакивали они в белых своих рубахах, как приведения в свете скучных ламп, и ужас, как гигантская птица, летал по лестницам и палатам. Отовсюду вырывался душераздирающий рев, повсюду он пробудил спящих из их обессиленного сна, и повсюду пробудил он страшное эхо, у раковых больных, едва ли засыпавших, в кишках которых нынче опять начал выделяться белый гной, у обреченных, кости которых до конца изгнивали, медленно, кусок за куском, и у тех, на голове которых разрасталась страшная саркома, изнутри ~~шипящая~~ сжирающая без остатка их нос, их верхнюю челость, их глаза, выедавшая, выпиравшая и гигантскими дырами, огромными воронками полными желтого гноя с кровью вспарывавшая их белые лица.

Отвратительными гаммами вой нарастал вверх и опадал вниз, словно управляемый каким-то невидимым дирижером. По временам наступал короткий интервал, маленькая художественная пауза, искусно вставленная, пока в какой-то момент он снова не возник в одном из темных углов, медленно нарастал и поднимался к самым верхним регистрам, к вызываемому дрожь долгому и пронзительному йодии, которое витало над этим шабашом смерти, как голос какого-то священника, служащего обедню, над пением церковного хора.

Все врачи были на ногах, все бегали взад и вперед между кроватями, в которых, как большие репы на осеннем поле, ворочались красные опухшие головы больных. Все больничные сестры метались вокруг по палатам в своих развевающихся белых передниках, размахивая шприцами морфия, коробками опиума, как причетники какой-то странной божественной службы.

Повсюду утешали, успокаивали, усыпляли, повсюду делали инъекции морфия и кокаина, укрощая хасс, повсюду спровергали, выдавали на все кровати успокоительные бюллетени. Залы все были освещены, и с воротившимся светом страдания больных, казалось, медленно ослабевали. Рев постепенно замирал, он переходил в тихий жалобный плач, и мяtek болей завершался слезами,

соном и тупым безропотным смиреньем.

Ионатан впал в глухое оцепенение. Боль разомкнула хватку, его, в конце концов, захлестнуло безразличие.

Однако, после того как мучения оставили его, ноги начали набухать, как два больших трупа, оставленные на солнцепеке. Колени в течение получаса разбухли до размеров детской головки, ступни стали черны и тверды как камень.

Когда же во время утреннего обхода дежурный врач подошел к нему и приподнял покрывало, то увидел под перевязкой громадные опухоли. Он велел размотать повязки, бросил лишь один взгляд на гниющие ноги, затем трижды позвонил, и спустя несколько минут в комнату вкатили передвижной операционный стул. Несколько человек переложили его на плоскую поверхность. Они вывезли его оттуда, и около получаса комната оставалась пустой.

После этого Ионатан лежал бледный, с широко распахнутыми глазами, потому что стал теперь в половину короче. Там, где раньше были его ноги, сейчас был толстый окровавленный узел белых тряпок, из которых тело его торчало вверх, словно туловище какого-то экзотического божка из чашечки цветка. Мужчины перебросили его на кровать и покинули его.

Какое-то время он был один, и случаю было угодно, чтобы в эти немногие минуты он еще раз увидел свою знакомую из комнаты по-соседству.

Снова отворилась дверь, снова он увидел белое лицо. Но оно показалось ему чужим, он едва-едва мог еще вспомнить его. Как давно это было, когда он разговаривал с ней.

Она спросила, как его дела.

Он не дал ей ответа, он не слушал, что спрашивала она, однако судорожно пытался, по-возможности, шире натянуть одеяло на перебинтованные обрубки своих ног. Она не должна увидеть, что ниже его колен зияла пустота, что теперь всему был конец. Он стыдился. Стыд был единственным чувством, оставшимся ему.

Молодая девушка спросила его еще раз. Когда же она снова не получила ответа, то медленно отвернула голову.

Вопла сестра, она беззвучно затворила дверь, присела с рукоделием у его кровати. И Ионатан впал в беспрокойную полудрему, оглушенный остаточным действием наркоза.

Внезапно ему показалось, будто обои его комнаты в одном

месте зашевелились. Они, казалось, тихо трепетали туда-сюда и вздувались, как если бы за ними стоял некто, управлявшийся в них, чтобы разорвать. И, смотри-ка, обои в какой-то момент порвались снизу, у пола. Как стая крыс, из-под них ключом полилось наружу несметное полчище маленьких крошечных человечков, вскоре заполонивших всю комнату. Ионатан изумился, как же такое обилие карликов могло спрятаться позади обоев. Он выбрался по поводу беспорядков в лечебнице. Он хотел пожаловаться своей сиделке, однако, когда собрался ~~шкапки~~ сделать ей с кровати знак рукой, увидел, что ее тут не было. Также и обои как-то сразу исчезли, здесь также не было больше стен.

Он лежал в просторном, чудовищно огромном зале, стены которого, казалось, отдалялись все дальше и дальше, пока и вовсе не исчезли за свинцовым горизонтом. И всё это ужасно пустынное пространство было полно маленьких карликов, качавших большими голубыми головами на тонких своих шейках, словно море гигантских васильков на ломких стеблях. Несмотря на то, что многие стояли очень близко от него, лиц их Ионатан различить не мог. Когда ж он хотел взглянуться пристальнее, их черты расплывались в сплошные голубые пятна, которые принимались плясать перед его глазами. Он бы охотно узнал поточнее, какого они были возраста, однако больше не слышал собственного своего голоса. И внезапно ему пришла мысль: Да ты же оглох, ты ведь не можешь больше слышать.

Перед его глазами карлики начали медленно вертеться, они ритмично поднимали свои руки вверх и опускали вниз, неторопливо огромные массы их пришли в движение. Справа налево и слева направо, в черепе его зажужжало. Всё быстрее вертелась масса вокруг него. Он думал, что сидит в огромном лучистом врачающемся диске, который с нарастающей быстротою все быстрее, всё неистовее начинает крутиться вокруг него. У него закружила голова, его сносило.

Его должно было вырвать.

В одно мгновение вдруг всё стихло, всё спустило, всё исчезло. Он лежал одинокий и голый на каких-то носилках в огромном поле.

Было очень холодно, начиналась буря, и по небу тянулась вверх черная туча, словно чудовищный корабль со вздутыми черны-

ми парусами. Позади, на краю неба, стоял какой-то человек, закутанный в серые лохмотья, и несмотря на то, что *и* он был очень далеко, Ионатан точно знал, кто это. Глаза на его голом черепе сидели очень глубоко. Или он вообще не имел глаз?

На другой стороне неба он увидел стоящую женщину или молодую девушку. Она показалась ему знакомой, он уже когда-то видел ее, это, однако, было очень давно. Внезапно обе фигуры принялись махать ему, их длинные со множеством складок рукава разевались, но он не знал, кому должен повиноваться. Когда девушка увидела, что он не предпринимает никаких усилий, чтобы спуститься вниз со своих носилок, то повернулась и стала удаляться. И он долго еще видел её уходящей в белополосом небе.

Наконец, совсем далеко, совсем на краю глади, она еще раз остановилась. Она еще раз обернулась, помахала ему рукой еще раз. Но он не мог подняться, он знал, что тот, стоящий позади со своей ужасной мертввой головой не позволял этого. И девушка исчезла в одиноком небе. Однако человек позади махал ему все настойчивее, он грозил ему своим костяным кулаком. Тогда он сполз со своих носилок, и потащился через поле, через пустынь, в то время как призрак полетел впереди него, все дальше сквозь тьму, сквозь ужасную тьму.

### I9II.

ooooooooooooo